

---

# ЛИТЕРАТУРАЗНАУСТВА

---

УДК 821.161.1-3+821.3-3.09

**В.В. Люкевич**

## ЛОКУС И ХРОНОТОП ДОМА И УСАДЬБЫ В КОЛАСОВСКОМ И БУНИНСКОМ РОМАНАХ

Исследованы основные функции локусов и хронотопов крестьянских и дворянских дома и усадьбы в трилогии Коласа, а также дворянской усадьбы в романе Бунина. Бунин констатировал историческую истощенность матрицы бытия и топики художественной литературы, сложившихся в дворянской усадьбе, завершил усадебный текст в русской литературе. Перспективы духовного возрождения нации Колас связывает с этикой трудовой крестьянской семьи, ладом традиционного крестьянского дома. Локус и хронотоп дворянской усадьбы, а также усадьбы шляхтича в финале трилогии Коласа – коды будущего экономического расцвета родного края, когда белорусы станут подлинными хозяевами своей земли.

Для обозначения пространства в художественных текстах в современных культурологии и литературоведении используются термины – *топос* и *локус*. Термин *топос* (по-гречески «место») впервые употребил Аристотель, но ему он, как констатирует В. Щукин, «в свое время представлялся чем-то великим и трудно уловимым» [1, с. 168, 214]. Топос – *место-предмет*, по В. Щукину. Но в литературоведении за топосом закрепилось и иное значение, «а именно *locus communis*, общее место, то есть повторяющийся из произведения в произведении, из эпохи в эпоху мотив, а также риторически-стереотипный способ включения этого мотива в структуру текста» [1, с. 168]. Поэтому, чтобы избежать путаницы, термину *топос* В. Щукин предпочел *локус* (почти идентично греческому – *топос*) для обозначения гуманитарно-значимого места в художественных текстах. В художественных текстах эстетически осваивается космическое (небо, Млечный путь, солнце, луна, звезды), географическое (ландшафт, горы, океан, море, поля, лес и другие) и особенно социокультурное пространства. В. Щукин перечислил десятки таких разновидностей последнего: жилой дом (дворец, особняк, дача, крестьянская изба, шалаш, барак и т. п.), храм (собор, церковь, мечеть), школа (университет, пансионат, кадетский корпус), больница, баня, вокзал, ресторан и т. д. [1, с. 176–177]. Все упомянутые разновидности пространства (*место – предметы*, изображенные в художественных текстах), следуя мнению В. Щукина, целесообразно обозначать локусами. Им обстоятельно исследованы локус и хронотоп дворянской усадьбы, усадебный текст от зарождения до очевидных признаков его угасания в русской литературе [1, с. 157–460]. Кстати, он же и констатировал, что «одним из последних блестящих аккордов угасающего усадебного текста были многие произведения Бунина: целый ряд стихотворений, рассказов («Антоновские яблоки», «Золотое дно», «Последнее свидание», «Весенний вечер», «Грамматика любви», «Исход», повесть «Суходол», а из позднейших – повесть «Митина любовь», новеллы, вошедшие в сборник «Темные аллеи», и обширные «усадебные» фрагменты в романе «Жизнь Арсеньева» [1, с. 332].

Правда, анализа упомянутых фрагментов в романе Бунина в капитальном труде В. Щукина нет. Комментатор романа О. Михайлов заметил только, что «на примере семьи Арсеньевых ярко виден «молекулярный распад» «русского усадебного барства» [2, с. 316], а неперенные же культурные коды многих фамильных усадеб – книги классиков русской литературы, их портреты воспринимаются юным Арсеньевым «как фамильные», потому что «со всеми ими он чувствует себя из одних квасов и гордо ощущает свою принадлежность к русскому дворянству» [2, с. 317]. Эта оценка усадебных фрагментов лишь незначительно откорректирована в последней биографической книге

О. Михайлова о Бунине [3, с. 410]. А. Волков, ссылаясь на авторитет А. Твардовского, напомнившего, что Бунин резко возражал тем, кто его называл «певцом дворянских гнезд», «усадебной печали», поименовал художника «страдающим летописцем» эпохи распада дворянства [4, с. 374]. Однако конкретных наблюдений над местом и функциями локуса усадьбы в художественном универсуме романа в исследовании А. Волкова, как и В. Афанасьева [5, с. 323–349], Ю. Мальцева [6, с. 302–321], Л. Смирновой [7, с. 151–162], не находим. Только А. Горелов частично отметил функции хиреющей усадьбы Арсеньевых и особенно заглохшей, необитаемой усадьбы отца Лермонтова, которые в тексте романа объективно разрушили субъективные арсеньевские иллюзии о «мифической «крепости» давнишней русской жизни» [8, с. 526].

В. Щукин существенно уточнил представление о хронотопе: это «способ осуществления акта (процесса) бытия во времени-пространстве (курсив автора. – В.Л.). Это не локус (усадьба, город, дом, вокзал) и не жанр (жалоба, обвинение, шутка, раздумье)». Понятие хронотопа он иллюстрирует рядом примеров – «встреча, путь, болезнь, влюбленность, праздник, тюремное заключение, возмущение; жизнь человека от рождения до смерти...» [1, с. 471]. Каждый из упомянутых и других хронотопов представляет собою пространственно-временную конкретизацию бытийного акта, процесса, определяет соответствующие им виды сюжетосложения. В. Щукин в основном, как и М. Бахтин, выделивший хронотоп биографического времени, протекающего во внутренних пространствах дворянских домов и усадеб [9, с. 398], исследовал социокультурный локус и хронотоп дворянской усадьбы. В прозе же рубежа XIX–XX и XX веков локус крестьянских дома и усадьбы заметно потеснил дворянские, что характерно для многих рассказов и повести «Деревня» Бунина. Поэтому есть все основания исследовать и этот локус и хронотоп. Правда, в «Жизни Арсеньева» локус крестьянского дома не нашел заметного воплощения. Зато в трилогии Якуба Коласа он основной. Ведь герой белорусского классика духовно определился в крестьянской семье, бунинский же Арсеньев – дворянин.

Локус усадьбы семьи Лобановичей в коласоведении до недавнего времени интерпретировался в контексте расхожих оценок социального положения белорусского народа в Российской империи: «Лобановіч убачыў, што пакутуе не адна родная сям'я, увесь народ ледзь-ледзь зводзіць канцы з канцамі» [10, с. 67]. Не культурологическая, а социальная сущность локуса крестьянского подворья интересовала Ю. Пширкова: «Сацыяльныя супярэчнасці, аб якіх паведамляе пляменніку дзядзька Марцін, – гэта ўжо... канкрэтная для Лобановіча з'ява... Герой павінен быў усё зразумець, бо інакш аказаўся б зусім бездапаможным у далейшых сваіх намаганнях стаць грамадзянінам» [11, с. 250].

Следовательно, и в коласоведении и в буниноведении родовые гнезда героев исследованы пока только в контексте социальных судеб и перспектив крестьянства и дворянства в Российской империи периода ее исторической агонии. Ни этническая, ни культурологическая семантика, ни концептуальные и сюжетообразующие функции локусов дворянской в бунинском, крестьянской и дворянской усадеб в коласовском романах пока еще не исследовались.

\*\*\*

Художественные миры шедевров «На росстанях» и «Жизни Арсеньева» реализованы в пространственно-временном континууме родных для авторов и их героев этнорегионов. Сюжетная динамика и событийность в романах обоих классиков, как образно выразил мысль М. Бахтин, тяготеют к хронотопу и через него «наполняются плотью и кровью, приобщаются художественной образности» [9, с. 399].

У хутора, где временно уютилась родная семья, после смерти отца оказавшаяся на попечении дяди Мартина, Лобанович появился только в сюжете второй книги романа. В первой книге родные места являлись герою ретроспективно как противопоставление необыч-

ным для белоруса центрального региона полесским ландшафтам и селениям, к которым Лобанович привыкал постепенно. Поездка в родные места накануне Пасхи только упомянута, художественно не выявлена. Впервые в этот хронотоп Лобанович «вошел» после приезда из Тельшино, понемонских вечеринки и ночных искушений за карточным столом, духовного очищения красотой наднеманского ландшафта и чарующей мелодией песни лесного жаворонка. Первое младенческое воспоминание Арсеньева представлено Буниным как выход из замкнутого пространства родного дома за его пределы: «помню... освещенную предосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видимым в окно на юг...» [12, с. 9]. Точнее, проблеском сознания персонаж обязан солнечному лучу. Второе упоминание о доме соотнесено с летним вечером, тоже последним лучом солнца, уходящего за притихший сад из темной спальни. Из своей детской кровати мальчик созерцает тихую вечернюю звезду. В фабульном вводе персонажа в сюжет запечатлен выход героя к Космосу – уходящему солнцу и тихой ночной звезде. Сознание героя фиксирует явления, запредельные дому. Коласовский герой помыслами и сердцем устремлен к родному дому. Бунинский же рвется из него в космические дали, *вдаль простирается* [12, с. 153].

Через хронотоп дома в сюжеты романов введены семьи героев. Похвалу своему отцу Лобанович слышит в Понемонье из уст Зязюльского: «гляджу я на цябе і ўспаінаю твайго бацьку: тваё аблічча так напамінае мне яго... Гэта быў мой першы прыяцель, дружка...» [13, с. 204]. Лобановичу дорога хорошая память в округе об отце. Теплоту материнской заботы ощущают сестры и братья Лобановича, особенно он: «Ганна, маці Лабановіча, была жанчына добрая, руплівая, усё старалася зрабіць сама, за ўсіх заступалася» [13, с. 230]. Вещее сердце матери предчувствовало приезд сына. Она чувствует свою вину перед младшим братом героя Юзиком, которому надо подниматься чуть свет, чтобы гнать коров на лужок, по-своему, с точки зрения неутомимого труженика дяди Мартина, балует юных дочерей, Настю и Маню. В локусе и хронотопе родной усадьбы – размеренный ритм трудового бытия малообеспеченной, но дружной и работающей семьи, где каждому ее члену, даже шестилетнему Якубу, определен свой круг обязанностей. Герой удручен скромным достатком родных: «адразу папаў у самы асяродак дамашняга клопату, скаргі на цяжкае жыццё, на беднасць. Радасць спаткання з роднымі астуджалася гэтымі адчуваннямі, што былі прыглухлі за час побыту па-за межамі роднага кутка, саступіўшы месца другім» [13, с. 228]. Благодаря локусу дома в сюжете трилогии моделируется трудовая белорусская семья.

Отец познан Арсеньевым в конкретике своих черт – сильный, бодрый, беспечный, вспыльчивый, но необыкновенно отходчивый, великодушный [12, с. 13]. Через отца Арсеньев в сюжете начинает осознавать и ментальность нации. Определение основной черты этой ментальности («той счастливой праздности, которая была столь обычна тогда не только для деревенского дворянского существования, но и вообще для русского») приходит к герою, конечно, в зрелые годы, но интуитивно она почувствована Арсеньевым уже в детстве [12, с. 13]. Органично, естественно осознание материнской теплоты: «Мать была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным, я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого» [12, с. 16]. Братья, сестры, особенно – Оля, нянька, как мать и отец, их незавидная судьба в хронотопе дома подводят героя к осознанию разрушения исконного лада патриархального жилища.

Характер, ментальность бунинского героя, помимо воздействия врожденного, генетического механизма «прапамяти», на чем неукоснительно настаивал художник, формируется и под несомненным влиянием родной среды. Правда, она не только социальная, но и материальная – неживая и живая природа, представленная ландшафтом, небесами, метеорологией, миром растительности, насекомых, птиц, животных и т. д. В усадьбе зарождается патриотическое сознание Арсеньева. Оно – и в восхищении малиновым Богородичным цветком с коричневым стеблем, и горестным пением овсянки в бурьяне...

[12, с. 21]. Это сознание вбирает в себя и бытовой распорядок усадьбы, ее трудовой ритм: по-утреннему, ново скрипящие на скотном дворе ворота, выгон на сочный утренний корм коров, серо-кудрявой отары овец, гудение земли от топота дружного табуна лошадей, которых гонят на водопой... А уж как репрезентуют национальный образ жизни экскурсии памяти героя в сезонные полевые работы (косовицу на лугах и полях): «На зное косят, со свистом, размашисто, приседаю и раскорячиваясь, валят густую стену жаркой желтой ржи косцы с почерневшими от пота спинами, с расстегнутыми воротами, ремешками вокруг головы, а следом за ними работают граблями и, сгибаясь, наклоняясь, борются с колкими головастыми снопами, пахнувшими разогретой на солнце золотой ржаной соломой, мнут их коленом и туго вяжут подоткнутые бабы» [12, с. 22].

Не менее внимателен к трудовому ритму белорусской семьи Колас. По звукам, доносившимся со двора, Лобанович определяет, чем занят в раннее утро дядя Мартин: он на самодельной соломорезке готовит полевой корм для лошади, «відаць, збіраўся ехаць араць напар» [13, с. 228]. Мать же спешит подоить корову, и быстро, накрыв подойник фартухом, несет его в сени избы, чтобы освободиться для встречи с сыном. Юзик, младший брат Андрея, одет пастухом («з пугаю і торбаю»), гонит коров в поле на утреннюю пастьбу. С хронотопом крестьянского подворья входил в сюжет этнобыт белорусской трудовой семьи, белорусский ритуал встречи родственников после продолжительной разлуки: «Марцін... засвяціўся радасцю і яшчэ загадзя расхіліў вусы, каб адвесці прасторнейшае месца пацалунку, шурпатаю далонню выцер губы і, стаўшы каля весніц, нарыхтаваўся як належыць сустракаць гасця [13, с. 228]. Особый ритуал встречи Андрея с матерью: «Лобановіч пацалаваў ёй руку» [13, с. 228]. Искренность, теплота, заинтересованная забота друг о друге – все свидетельствует о святости традиционных семейных устоев. Иное у Бунина. Отец Арсеньева вопреки очевидному обнищанию семьи полон барской спеси. Он снимает лучший номер в Дворянской гостинице, заказывает к обеду обилие напитков и закусок. Прокутив и проиграв в карты состояние, он проявляет к родным «этикетную» заботу. Арестованного сына-народовольца он просит везти в вагоне первого класса, одевает в свою ентовую шубу. Эта же шуба – последнее одолжение отца покидающему родное гнездо Алексею. С языка отца не сходят обращения к сыну – «душа моя», «друг мой». Так отец пытается скрасить горькую участь сына, в которой повинен. Чтобы поддержать Алексея в самые трудные мгновения его судьбы, он начинает усиленно следить за своим внешним видом, напоминает сыну мудрую сентенцию классика о вкушении мирных наслаждений в «смирной хижине своей» [12, с. 286]. Мать Алексея мужественно переносит арест старшего сына, приняв обет вечного поста. Изображены Буниным и ритуалы празднования двенадцатых праздников в барской усадьбе, погребения усопших родственников, поминальные обеды.

В хронотопе избы и крестьянского двора нашли место разнообразные трудовые занятия белорусской семьи. Они соотносены с неустанным тружеником, дядей Мартином: «То на полі, то каля дому ўвіхаўся. А ў часіны больш-менш вольныя займаўся майстэрствам... то калёсы ладзіў, то саху правіў, у хляве ці ў гумне парадак рабіў, або ў хаце ці ў сенцах усякія рыштункі рыхтаваў» [13, с. 231]. Любимые занятия, увлечения дяди Мартина – рыбалка и грибные походы, когда в соответствующую пору «задажджыцца і работа спыніцца на полі» [13, с. 231]. К хронотопу родного дома привязано и действенное участие Лобановича в крестьянских занятиях. Андрея увлекает поэзия косьбы на приеманском лугу, рыбалка, особенно первая, косьба: «Трава была маладая, ранішняя раса рабіла яе вільготнаю і мяккаю. Добра паклёпаная і наладжаная косы толькі пасвіствалі. Трава лёгка паддавалася і пакорна лажылася ў роўныя пракосы» [13, с. 647].

Ритм крестьянского труда увлек Андрея в предтноремную пору: «Амаль кожны дзень Андрэй праводзіў у полі, вязаў ячмень, авёс, памагаў дзядзьку Марціну звозіць збажыну і складаць у гумне» [13, с. 657]. Особенно радовали Лобановича удача с удобренным по его

рецепту лужком, сулящим хороший урожай овса с викой. Для Лобановича стала очевидной невыполнимость тех проектов обустройства хуторка, которыми они грезили с дядей во внесюжетном времени, поре семинарских каникул Лобановича. Причина этого – та удручающая бедность многодетной крестьянской семьи, которая воочию предстала Андрею в своей реальной яви.

В хронотопе родного дома в результате собственных нерадостных наблюдений над бытом родных, жалоб дяди Мартина на крестьянскую долю по вине господ («Служыў, служыў бацька ўвесь век, а памёр – сям’я куды хочаш дзявайся... І калі ім, халерам, канец той будзе? І ці будзе?») Лобанович начинает сомневаться в целесообразности официальных охранительных идей, которые будущим учителям вбивали в голову в семинарии [13, с. 237]. Лобанович не случайно вспомнил слово «социалист», которое впервые услышал во время учебы. Смысл слова для героя как нельзя лучше соответствовал тому сопротивлению неправильному ходу жизни, которое молодой учитель расслышал в жалобах дяди: «гэта... той... чалавек, які асмельваецца нядобра думаць аб цару, аб цяперашнім парадку» [13, с. 237].

Завершая полуторастолетнюю историю усадебного текста русской литературы в «Жизни Арсеньева», Бунин существенно обогатил коннотации, семантические и концептуальные, этого текста. Конечно, бунинский усадебный текст в романе зафиксировал не весь «усадебный словарь», составленный В. Шукиным из слов, использованных для языкового кодирования поэзии дворянских гнезд [1, с. 329–331]. Но в словаре бунинского усадебного текста кодируются те ментальные, национальные свойства русского человека, которые, откорректировавшись в усадьбе, определили и взлет русской культуры, и неизбежную агонию этой усадьбы. В отечественном хронотопе дома, усадьбы у Бунина запечатлены изъяны русской ментальности, которую «никогда не понять европейскому человеку, чуждому русской страсти и самоистреблению» [12, с. 40]. Страсть к самоистреблению, свойственная русским барам, мужикам, купцам, проецируется на безбрежность пространств, исключавшую потребность в строгой организации бытия в социуме.

От «домашнего» отношения к самодержавию, непоследовательности оценок отцом царя Николая Первого (то «Николай Палкин, бурбон», то «в бозе почивающий государь император Николай Павлович»), через историю с арестом брата, народовольца, повествователь переходит к едкому анализу взлелеянной в барской усадьбе тяги русских к революции: «очевидно, только в силу той вечной легкомысленности, восторженности, что так присуща была дворянскому племени и не покидала Радищевых, Чацких, Рудиных, Огаревых, Герценов даже и до седых волос» [12, с. 83]. Эту черту ментальности Бунин интерпретирует как вечную русскую потребность праздника; как тягу «к непрестанному хмелю, к запою», как бегство от скуки будней и планомерного труда. Русский революционер «всегда до нелепости отрешенный от жизни и ее презирающий» [12, с. 83]. В хронотопе дворянской усадьбы запечатлена и такая особенность ментальности, как «некое сладкое брожение, некое освобождение от рассудка, от будничной связанности и упорядоченности». Революционность и другие окаянства русских ассоциированы со знаменитым «Руси есть веселие пити». Повествование о драматической судьбе старшего брата прерывается патетическим выражением: «Не родственно ли с этим «веселием» и юродство, и бродяжничество, и радения, и самосжигания, и всяческие бунты – и даже та изумительная изобразительность, словесная чувственность, которой так славна русская литература?» [12, с. 84].

В хронотопе родного дома, точнее, родной деревни Микутичи, которая славилась не только немалым количеством образованных молодых людей, но и их вольнодумством, Лобанович вынашивает планы ремонта непролазной в сырую погоду гати. Но проект, как и

попытки сагитировать дядю Мартина на мелиорацию и удобрение арендуемого поля, не нашли поддержки ни у родного дяди, ни у микутичан.

Родные с сочувствием и пониманием отнеслись к судьбе опального Андрея после увольнения его со службы. Брат Владимир, служивший лесником в Смолярне предоставил ему скромный уголок в своем доме и нашел временную учительскую работу. Когда же Лобанович через год навестил родных на хуторке, «ні маці, ні дзядзька не папiкнулі Андрэя за прыкрае здарэнне на сходзе настаўнікаў» [13, с. 585]. Мать принимает и одобряет опасный жизненный выбор Андрея: «Ох, сынок, калі ўжо так трэба, дык трэба» [13, с. 588].

Уют родного дома, его целебную ауру Лобанович ощущает особенно остро тогда, когда его оставили временные попутчики, наподобие Янки Тукалы. Именно в родном доме, под кровом очага семьи опальный учитель трогательно прикасается ко всему тому, где он полнее всего ощущает себя самобытной личностью, к тому, что взрастило, сформулировало его духовность: «У гэту ноч Андрэю не спалася. Вільготная зямля і начная цішыня даносілі разнастайныя гукі няўгамоннага жыцця. Вось па дарозе мякка прашумелі ў пяску колы сялянскай цялежкі... За Нёманам мілагучна свіснула нейкая таксама бяссонная птушка... Як усё гэта блізка, знаёма з самага дзяцінства!» [13, с. 672].

В хронотопе усадьбы в детстве прикипел Арсеньев к «словесной чувственности» отечественной литературы, словесному волшебству «Руслана и Людмилы» Пушкина, а потом чудной словесной вязи, осязаемой лапидарности картин дворянского и казацкого быта в «Старосветских помещиках» и «Страшной мести» Гоголя. А в весеннюю пору после добровольного ухода из гимназии, под родительским кровом подобно весеннему расцвету дерева начал расцветать собственный литературный талант Арсеньева. Роль родительского дома для духовно-эмоционального развития Арсеньева выявлена в главах, посвященных изображению жизни семьи в последнем родовом имении – Батурино.

В романе важны блеск искусства, мастерство художника в воспроизведении богатой многоаспектной, трудно поддающейся перечислению эмпирики жизни. Сутью, вектором этого волшебного мастерства явилось филигранное моделирование национального мироощущения, точнее, его оригинального, именно бунинского варианта, в котором предоставлялось место тому многому, что ушло от внимания величайших мастеров русской литературы.

Сюжетообразующая роль хронотопа двора, точнее, такого его атрибута, как каретный сарай с его живностью, ярко раскрыта в эпизоде наблюдения мальчиком Арсеньевым за красивыми ласточками с их молниеносным летом. В этом эпизоде читатель знакомится с бунинским объяснением зарождения национальной сказочной фантастики, стремления преодолеть пространства, окунуться в необычное, неведомое экзистенциальное, чисто психологическое.

В хронотоп усадьбы родного дома включены житейские трагедии, празднование отдельных из двенадцатых праздников. С первыми связано обретение мальчиком Арсеньевым веры в Бога. Понятие о Нем, ощущение Его бунинский герой обрел с понятием о смерти и бессмертии души: «Бог – в небе, в непостижимой высоте и силе, в том непонятном синем, что вверху, над нами, безгранично далеко от земли: это вошло в меня с самых первых дней моих, равно как и то, что невзирая на смерть, у каждого из нас есть где-то в груди душа и что душа эта бессмертна» [12, с. 26]. Трагический случай, кончина постушка Сеньки помогли герою Бунина впервые почувствовать реальность, «вещественность» смерти, ухода из мира существования сознания личности. Еще глубже это осознается после смерти бабушки, особенно сестренки Нади: «все земное, все живое, вещественное, телесное, непременно подлежит гибели, «тленью» [12, с. 44].

Именно в весенний день, ледяной и ненастный, во дворе усадьбы появился человек в сюртучке – Баскаков. Он, ставший наставником Арсеньева, чрезвычайно помог развитию его повышенной впечатлительности, унаследованной от предков. Под его влиянием Арсень-

ев навсегда проникся глубочайшим чувством истинно-божественного смысла и значения земных и небесных красок [12, с. 32]. Следовательно, уверовал в непреходящий, созидательный смысл эмпирической, материальной, вещественной плоти мира, данного человечеству Творцом. Но все же важнее другое – в хронотопе родительских стен под воздействием учителя Арсеньев развил в себе неумную фантазию: «Как мог я, будучи ребенком, мало чем отличавшимся от любого мальчишки из Выселок, глядя на книжные картинки и слушая полоумного скитальца... так верно чувствовать духовную жизнь этих замков и так точно рисовать себе их?» [12, с. 35].

Способствовали духовному становлению Арсеньева и созерцание портретов предков в холодном зимой обширным зале, приобщение к красоте зимних ночных картин в дымке холодного лунного света, вызывавших в памяти «вельможно-гордые державинские строки» о «золотой луне», плавающей на темно-голубом эфире», и прогулки и разговоры с братом Георгием, и возможность иметь доступ к родовой библиотеке в имении Васильевском, принадлежавшем мужу сестры. В библиотеке классика XVIII–XIX веков – Сумароков, Анна Бунина, Державин, Батюшков, Жуковский, Веневитинов, Козлов, Баратынский... [12, с. 101]. Восторженны оценки искусства издания упомянутых авторов, содержания их творений: «стройная красота, благородство, высокий строй...» [12, с. 101]. Сюжетная функция библиотечной атрибутики хронотопа дворянской усадьбы, как и всей уже названной, вряд ли подлежит сомнению. Арсеньев с перечисленными томиком «пережил все свои первые юношеские мечты, первую полную жажду писать самому... сладострастие воображения» [12, с. 101].

В усадьбе пережил Арсеньев и первую и последующие свои влюбленности. Они окрашивают мироощущение героя в мажорные тона. Пронзительно переживается героем разлука с Анхен как новое открытие мира: «еще не плакал я так неистово, как в тот день, но с какой нежностью, с какой мукой сладчайшей любви к миру, к жизни, к телесной и душевной человеческой красоте, которую, сама того не ведая, открыла мне Анхен, плакал я» [12, с. 115–116]. На другой день в усадьбе Арсеньев увидел в журнале свои стихи. И это событие как начало выхода на новую дорогу сказалось на перемене в восприятии дома: «пошел в свою комнату, шатаюсь от усталости, дивясь тому, какой он стал маленький и старый...» [12, с. 116].

Духовно и физически мужаящийся юноша и отождествляет себя с родительским кровом и с беспощадной резкостью суждений начинает удаляться от него [12, с. 119]. В усадьбе, вопреки ее разорению, обнищанию, Арсеньев лелеет свои самые возвышенные мечты, поэтические грезы. Ведь с бытом усадьбы «так тесно связана была когда-то вся русская поэзия». Дух этой среды, романтизированной воображением персонажа, ему «казался... тем прекраснее, что навеки исчезал на... глазах» [12, с. 128]. Повествователь не перестает изящно конкретизировать этот исчезающий быт. Как и Лобанович, Арсеньев принял действенное участие в крестьянском труде. Оно изображено с неиссякаемой поэтичностью в конкретике трудовых операций: то утомительная косьба («с согнутой, изломанной спиной, с ноющими в плечах и горящими от кровавых мозолей руками с обожженным лицом»), то погрузка снопов («всаживать вилы в толстый, сухо-упругий сноп, подхватывать скользкую рукоятку вил коленом с маху, до боли в животе, вскидывать эту великолепную шуршащую тяжесть, осыпающую острым зерном, на высокий... воз») [12, с. 132], то их возка по ухабистому выбитому проселку, то работы на гумне. Из хронотопа усадьбы Арсеньев отправляется в город и за первым литературным гонораром, и с деловым поручением отца. И тут он принимает решение – покинуть Батурино. И по своей воле, и по совету скупщика хлеба, тоже в юные годы писавшего стихи. Настоящему художнику нужен широкий кругозор: «Сидеть сиднем в деревне, не видать жизни, пописывать и почитывать спустя рукава – карьера не блестящая» [12, с. 140].

Беспокойная мысль будущего художника искала возможные пути обновления исконной матрицы бытия, а соответственно, и образности родной литературы. Симптоматичны размышления бунинского героя о литературном подвиге Лермонтова после посещения разоренной усадьбы, родового имени отца поэта. Исток его Арсеньев уподобил своему: «Вот бедная колыбель его, наша общая с ним, вот его начальные дни... и первые стихи, столь же, как и мои, беспомощные» [12, с. 157]. Взлет лермонтовского гения Бунин связывает с новой топикой, выходом за пределы усадьбы. Арсеньев восторженно перечисляет новую образность в наследии своего земляка: «снежную вершину Казбека, Дарьяльское ущелье, долину Грузии, где шумят, «обнявшись, точно две сестры, струи Арагвы и Куры», облачную ночь в Тамани, дымную морскую синеву, в которой чуть белеет вдали парус, молодую ярко-зеленую чинару у какого-то уже совсем сказочного Черного моря...» [12, с. 157–158]. Упоение необычной топикой Лермонтова завершено чувством зависти к необычной, свершившейся вдали от родового гнезда жизни и судьбе поэта. К окончательному разрыву с родовым гнездом подходит Арсеньев и в итоге раздумий над страницами «Войны и мира» Толстого. И в творчестве этого гения, как в судьбах Лермонтова, Пушкина (не случайно упомянуты «Путешествие в Арзерум» наряду с толстовскими «Казачками»), Арсеньев находил посыл к преодолению сковывающего его волю усадебного быта.

В отличие от скудеющих барских гнезд у Бунина, в коласовском романе они – свидетельства не только недостатка, но и процветания. Таков «маёнтак пана Скірмунта, дзе працуюць... сукнавальня, гісэрня, бровар і яшчэ нешта... велізарная клуня, крытая чаротам. Клуня цягнецца ад дарогі да самае Піны – сажняў двесце напэўна яе даўжыня» [13, с. 349]. Атрибутика богатства и в портрете Скирмунта, деталях его кабинета: «Выгладжаны і прылізаны, важна сядзіць ён у сваім пышным кабінцеце за багатым сталом, курьць дарагія цыгары» [13, с. 366].

Особенно впечатляет Лобановича имение землевладельца Степанова на Столбцовщине: «Маёнтак гэты зварачаў на сябе ўвагу, асабліва кідаўся ў вочы сад, які выглядаў прыгожым востравам» [13, с. 526]. Антураж первого и второго имений контрастны подворью родных Лобановича. В локусе второго имени закодирована идея бушующего расцвета родной земли с настоящим хозяином на ней, родным народом. Счастливым островком на фоне всеобщей неустроенности крестьянского бытия явлены в финальной части сюжета трилогии усадьба, сад и дом шляхтича Глынського, где чистота, порядок, дородная красивая хозяйка, двое ухоженных детей и богатый стол, накрытый для гостей [13, с. 677–678].

Финал усадебного текста в бунинском романе удручающ: «дикарские облещенные водовозки возле порогов, вросших в железную грязь, колчи этой грязи по проезду к усадьбе, пустой двор перед угрюмым домом с печальными окнами... все старое, какое-то заброшенное, бесцельное... В быту дома я нашел переход уже к грубой бедности – замазанные глиной трещины печей, полы для тепла постланы мужицкими попонами» [12, с. 285].

Бунин в своем шедевре с болью и с твердой решимостью живописал на пределе сенсуалистских возможностей искусства слова историческую исчерпанность барской усадьбы и ее топикой в перспективе будущего и страны и ее культуры. Колас же с аксиологией белорусской трудовой крестьянской семьи связывал будущее возрождение родного края. В известном смысле явным образцом будущего обустройства родной земли у Коласа выступает и барская усадьба (имения Скирмунта и полковника Степанова), где в отличие от белорусской крестьянской усадьбы и особенно от дворянской (у Бунина) преобладают упорядоченность, культура хозяйствования, полный достаток. Код этого возрождения – и усадьба шляхтича Глынського. Она в трилогии – своеобразная модель будущего Нового Дома белорусов, когда они станут подлинными хозяевами на своей земле.



## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Щукин, В.Г. Российский гений просвещения. Исследования в области мифопоэтики и истории идей / В.Г. Щукин. – М. : Российская поэтическая энциклопедия, 2007. – 608 с.
2. Михайлов, О.Н. Примечания / О.Н. Михайлов // Бунин, И.А. Собр. соч. : в 9 т. – М. : Худож. лит., 1966. Т. 6 : Жизнь Арсеньева. Юность. — С. 311–326.
3. Михайлов, О.Н. Жизнь Бунина. Лишь слову жизнь дана... – «Бессмертные имена» / О.Н. Михайлов. – М. : Центрополиграф, 2001. – 491 с.
4. Волков, А.А. Проза Ивана Бунина / А.А. Волков. – М. : Моск. рабочий, 1969. – 468 с.
5. Афанасьев, В.Н. И.А. Бунин. Очерк творчества / В.Н. Афанасьев. – М. : Просвещение, 1966. – 384 с.
6. Мальцев, Ю.В. Иван Бунин / Ю.В. Мальцев. – М., Франкфурт на Майне : Посев, 1994. – 432 с.
7. Смирнова, Л.А. Иван Алексеевич Бунин / Л.А. Смирнова. – М. : Просвещение, 1991. – 192 с.
8. Горелов, А.Е. Звезда одинокая / А.Е. Горелов // Три судьбы: Ф. Тютчев, А. Сухово-Кобылин, И. Бунин. – Л. : Совет. писатель, 1976. – С. 275–622.
9. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики / М.М. Бахтин. – М. : Худож. лит., 1975. – 504 с.
10. Пшыркоў, Ю.С. Трылогія Якуба Коласа «На ростанях» / Ю.С. Пшыркоў. – Мінск : Выд.-вы АН БССР, 1956. – 228 с.
11. Пшыркоў, Ю.С. Летапісец свайго народа / Ю.С. Пшыркоў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1982. – 368 с.
12. Бунин, И.А. Собр. соч. : в 9 т. / И.А. Бунин. – М. : Худож. лит., 1966. – Т. 6 : Жизнь Арсеньева. Юность. – 340 с.
13. Колас, Якуб. Збор твораў : у 12 т. / Якуб Колас. – Мінск : Беларусь, 1962–1964. Т.9 : Трылогія «На ростанях».

***Lukevich V.V. The Locus and the Chronotope of Home and Country Estate in Kolas's and Bunin's Novels***

In the article the author considers the functions of the locuses and the chronotopes of peasant home and noble country estate in Kolas's trilogy as well as of noble country estate in Bunin's novel. Bunin established historical exhaustiveness of the being matrix and the topic of fiction formed in noble country estate and finished the text of country estate in Russian literature. Kolas connected the perspectives of the spiritual revival of the nation with the ethics of a working peasant family, with the manner of the traditional peasant home. The locus and the chronotope of noble country estate and Polish nobleman's country estate in the finale of the Kolas's trilogy are the codes of the future economic flourishing of the native land when the Belarusians will become true owners of their land.

*Матэрыял паступіў у рэдкалегію 12.11.2008*